

Вадим Чирков

Мои одесситы*

И было так...

...И было так. Компания – поэты, акробаты: Валера Вассерман, Валя Барков, Алик Умецкий, Рудос, мастер спорта по гимнастике, Владька Спивак, фехтовальщик, борец классического стиля и что-то непонятное начинающий (это я), еще и еще кто-то... Может, был в этой компании и Юрий Михайлик, тогда начинающий и никому не известный стихотворец. Может быть, забрел, нюхом чуя, что здесь говорят о стихах, Игорь Павлов, будущий первый поэт Одессы...

Сначала здесь весело распивали в чьем-то доме самое дешевое молдавское вино «Вин де масе» (столовое) – «Вино в массы» в одесском переводе, читали новые стихи, оценивали их, спорили... Валера (сначала Вассерман, потом Кузнецов) играл на гитаре и пел ужасным голосом никому еще не известную песню на свою мелодию – он сочинял музыку.

Потом, по традиции (конечно, она сохранилась в Одессе), всей компанией отправлялись к морю, на Ланжерон, где плиты и шары. Там, стоя в воде по пояс, начинали акробатику. Валера выжимал стойку на кистях Рудоса (вытянутые вверх руки), сначала угол, потом выходил из угла в силовую стойку. После начинались сальто с рук Рудоса или Валеры. По берегу и воде шастал луч пограничного прожектора и высвечивал на мгновения взлетающие вверх молодые мускулистые тела, белый взрыв воды, слышались крики, смех. А бывало, море в эти ночи фосфорилось, светились

* Окончание. Начало в кн. 85.

облитые светлячками тела спортсменов, и всё тогда было сказочно красиво, как в ожившем древнегреческом мифе.

Вино – стихи – гитара – ночь – море – молодость... И дружба, сильная тогда, как любовь. Ко мне возвращались мои восемнадцать.

Рудос

У Рудольфа Ольшевского более 20 стихотворных сборников, часть вышла в Москве. В каждой книжке была его фотография. Мой рассказ – о самом первом обнародованном его фото.

Оно было помещено на доске-плакате «Они позорят наш город» в Соборном парке в Одессе. В то время по улицам наших городов расхаживали так называемые комсомольские патрули и зорко следили за всем, что, с их точки зрения, нарушало общественный порядок. Порядок нарушала, прежде всего, молодежная мода. То молодежь носила брюки клеши, то брюки-дудочки. Комсомольцы задерживали клешников, отводили их в свой штаб, расположенный обычно в подвале домоуправления, строго и осуждающе на них смотрели, читали блистающие правотой нотации, а потом... вырезали большими ножницами клин в клешах. У дудочников («дудки» бывали так узки (о мода!), что надевать из приходилось, намылив предварительно пятки) брюки распарывали и в таком виде их носителей выпускали на улицу. Некоторых «нарушителей» фотографировали, чтобы вывесить их фото на доске позора. Так было, ребята, такое интересное мы переживали время.

Общесоюзный сатирический журнал «Крокодил» работал тогда на уровне этих комсомольских патрулей, высмеивая стилиг, – сколько было карикатур, сколько было написано стихов по их адресу!

В Одессе было еще вот что. Моряки, побывав в загранке, привозили оттуда всяческие – у нас экзотические – шмотки и втридорога ими торговали. Джинсы, рубашки, куртки, даже носки. Рудос – имею право назвать его так: был с ним дружен много лет, да и так его прозывали в Одессе – каким-то образом достал куртку из, кажется, Гонконга, во всю ее спину был вышит яркий-яркий скалящийся тигр. И носился в этой куртке по Дерibasовской и улице Советской Армии, где жил, привлекая к себе чуть ли не все взгляды –

а что еще нужно 16-17-летнему юнцу! Впрочем, известен он был не только курткой: Рудик писал тогда стихи и читал их каждому новому знакомому, завлекая его в первый попавшийся подъезд.

Тогда в моде был Ив Монтан, песенки его знали и напевали все. И Рудик сделал одесским его шансон «Парижские бульвары»: «Как я люблю в вечерний час / По нашей Дерibasовской пройтись хотя бы раз, / Там много пищи есть для глаз – / Одесские бродяги, планакеш и стилиаги...».

Картинка!

Планакеш и стилиаги в наше время нужно уже переводить. Планакеш – курильщик плана, планчика, анаши-марихуаны; стилиага – супермодно одетый молодой человек: длинный пиджак джерси, южноамериканский галстук, брюки-дудочки с высокими манжетами, кок на голове, туфли на «бутербродах». Стиляг отлавливали на улицах, как сбежавших из клеток шимпанзе, и отводили в подвал.

Понятно, что и яркую куртку Рудоса заметил патруль. Его перехватили на бегу, и он оказался перед строгими взглядами комсомольского штаба.

К фотографии стилиаги Рудольфа Гольдфельда (настоящая фамилия поэта), наклеенной на доске позора в центре Одессы, Рудик приводил всех своих друзей и приятелей, чтобы похвастаться «дебютом». Под ней был помещен комсомольский текст, вот его кусочек: «На наш вопрос, почему он ходит по городу в такой попугайской куртке явно зарубежного происхождения, хулиган Р. Гольдфельд нагло ответил: «Потому что она мне нравится!» Каков!.. Спрашивается, чего хорошего мы можем ждать от такого любителя прозападного тлетворного образа жизни?!».

Ольшевский написал много хороших стихов, над одним из них я, помню, услышав строчку, прослезился.

Просто покалякать о том о сем с Рудиком было сложно: он в любую встречу обрушивал на меня свои последние стихи. Впрочем, он всегда и со всеми этим занимался. Таковы многие поэты.

И все же иногда удавалось отвлечь Р. от декламации – но речь и тогда шла о стихах. Как-то я заговорил о Светлове: вспомнилась то ли его шутка, то ли его строчка. Р. ответил на это имя категорично и свысока: комсомольский поэт! Он их не признавал.

Тут я скажу, что нелюбовь к комсомольским поэтам – Безыменскому, Светлову («Комсомол – ты мое начальство! Обожаю тебя и боюсь!..»), Жарову, Уткину – привили ему московские мэтры, которые, наезжая в Кишинев, гостевали у него.

Ладно.

Была у меня с Р. очередная встреча у него дома. Я выслушал очередную порцию последних стихов, назвал понравившиеся образы и предложил на пробу некие четыре строчки. Он согласился, и я прочитал:

...В вечность поплывет мое лицо,
Ни на что, ни на кого не глядя,
Чей-то мальчик выйдет на крыльцо,
– До свиданья! – крикнет. – До свиданья, дядя!

– Ох ты! – сказал Рудька. – Это кто?

– Светлов, – ответил я. – Последняя строфа стихотворения.

Рудос умер как поэт, в небольшом зале Бостона, на сцене у микрофона, читая стихи. Вдруг повалился... Инсульт. Гипертония доконала его.

И вот одно из последних стихотворений Ольшевского.

Одиночество

И спокойней живется, и проще,
Приближается возраст беды.
Пустота опадающей рощи,
Одиночество стылой воды.
Что случилось с травой придорожной,
С рыбой, выбравшей тень камыша?
И во мне, и во всем осторожней
И отчаянней стала душа.
И легко одному, и тревожно.
Ветер. Солнечный свет. Синева.
Время необитаемо. Можно
Забывать постепенно слова.

С точки зрения с-техни-спихни...

День был и солнечный, и безветренный, но с какой-то мерзостью, с какой-то подляной за пазухой. Да, да, было в этом дне еще что-то кроме температуры, атмосферного давления и влажности (магнитной бури не обещали, я проверил по компьютеру). Еще что-то бывает, кажется, в дне, какая-то химия, какое-то вкрапление – и ты, в него, в этот день, помещенный, как сухарик в стакан чая, размокаешь и разнюниваешься.

Хотя вполне возможно, что вся эта мерзкая химия произошла в моем собственном внутреннем растворе, подогретом, как известно, до 36,8 градусов.

Ну-ка попробуем ее одолеть. Вот что у меня есть в запасе для этого.

Жил-был в Одессе обыкновенный одессит Валера Кузнецов, в миру Вассерман, суржик, полукровка то есть. Акробат-спортсмен (мастер спорта). Цирковой акробат-эксцентрик (два года мотался с цирком по Союзу). Матрос на сухогрузе, за сачковитость снятый в Порт-Саиде, откуда был отправлен за счет пароходства домой. Некоторое время анашист (анаша – «травка», дурь). Ресторанный тапер. Композитор-песенник, пишущий музыку на слова непризнанных одесских поэтов. Дрессировщик львов и медведей в зоопарке (один медведь вышел из подчинения, дрессировщики его забили и съели; я случайно попал на пирушку и впервые отведал медвежатины). Парусник, владелец парусного дубка, избороздил на нем Черное море; потом дубок за нарушение правил судовой роли у разгильдяя от природы Кузнецова-Вассермана отняли пограничники. Валера, заболев парусами, в наше время стал наемным капитаном яхт у «новых русских». (Все это в одном человеке!) Просидел полтора года заключенным в тюрьме в Сиракузах за «попытку провоза мигрантов» (мигрантами занимался, естественно, «новый», но винил, естественно, своего капитана, суд разобрался в ситуации – и Валера уже на свободе, в родимой Одессе).

В свои лучшие времена кипучий Валера был знатоком трех жаргонов: староодесского (Молдаванка, Пересыпь), музыкантов-лабухов и планакешей, он из трех сделал один, яркий, как праздничный салют, и послушать этого талантливого человека (бородатый, в тельнике, сидит на корме дубка, в одной руке рум-

пель, в другой шкот от фока, чуть что ржет, широчайше раскрывающая пасть...), послушать его приезжали литераторы из Москвы и Ленинграда, и ничего лучшего за свою жизнь они, сидя на банке в дубке, не выдывали и не слыхивали.

– С точки зрения с-техни-спихни-с-толкалогической... – начал, гнусава по-наркомански, Валера свои рассказы о каком-то из своих приключений...

Откуда столько всего в человеке? От одной лишь сшибки русской и еврейской кровей? Есть у меня предположение, есть...

Валерин дом в Одессе стоял почти рядом с улицей Красной Армии (в старину и ныне Преображенской), напротив сильно разбитого в войну Дома офицеров. Сколько я его помню, здание не ремонтировали (не было, видимо, таких средств), окна его были заколочены, и само оно обнесено забором. Валера чему-то кстати рассказал мне, что после войны они, пацаны, пробирались внутрь и лазили там, находя интересные для себя вещи вроде ржавого нагана или даже маузера. Проникли в полузасыпанный обломками камня подвал и обнаружили там остатки военного музея. А среди оставшихся в целости экспонатов музея увидели пыльную стеклянную банку, плотно закупоренную и опечатанную. В бутылки плескалась какая-то жидкость и что-то там неопределенное плавало... Пацаны прочитали наклейку: «Сердце бессмертного героя Гражданской войны А.Я. Пархоменко». Открыли – пахнуло спиртом...

Я, услышав это, слегка обмер.

– Ну и что вы с сердцем сделали?

– Выбросили, – ответил безмятежный тогда Валера, – а спирт выпили.

А теперь скажите мне: если бы вы, зная неумный, атакующий все и вся характер Валеры и ломая голову над отгадкой его, характера, начала, над его потаенными глубинами, услышали вовремя эту историю – разве б не подумали случайной мыслью, что стойка на сердце отважного кавалериста раз и навсегда опьянила жизнь нашего одессита?

Друг его с детства, поэт N, опубликовавший с дюжину книжек там и сям, говоря о Валере, посетовал как-то, что безусловно талантливый этот человек не состоялся. Я думаю, что поэт этот, проведший жизнь над листом бумаги, многое упустил,

а уж Валера-то жил как хотел, и кайфы он ловил, ходя, к примеру, под парусом на своем дубке и переживая с лихой командой страшнейшие штормы, а после, пьянствуя на берегу в поселке Новый Свет, – во сто крат большие.

И влюблен он был, будучи уже женатым (кто не грешен, бросьте в него – или в меня – камень), в одну верхнюю акробатку, которая лепила в свете лунного луча мостик на перевернутой шлюпке, а он, сидя на песке, смотрел, очарованный.

И песни его исполнялись на эстраде.

И Высоцкому он аккомпанировал в ресторане.

И плакал над второй частью 23 концерта Моцарта.

И выбирал в жизни только то, что было ему «в цвет», а на другое – плевал, за что Станислав Рассадин, тоже внимавший Валериным перлам, сказал о нем: «Это человек, который сделал из своих хобби профессию».

Вспомнил я, слава богу, Валеру, бородатого, в тельнике, сидящего на корме дубка, ржущего чему-то, Валеру, неудержимо атакующего всякую сулящую ему радость вещь, и понял, что с его помощью родилось во мне уже не настроение, а *настроение* – дивное это слово, однажды мной услышанное, состоит из *настроения* и *устремления*. И вспомнил я совсем уж развеселые моменты жизни Вассермана-Кузнецова.

Сценка, картинка и балет

Валера играл на фортепиано и на гитаре и сочинял музыку на стихи – и к нему толпой валили поэты. И домой, и в бывшую синагогу, где при советской власти сделали спортзал и где Валера репетировал с напарником будущий цирковой номер.

Напарник Валеры был тоже интересен. Его звали Виля Гиличинский. Крупный тридцатилетний мужик. Он отсидел шесть лет в лагере за групповой грабеж и вышел оттуда с прозвищем Пантера и неплохим знанием английского языка, потому что его соседом по нарам был английский шпион. Виля курил планчик и иногда ширялся на малине на Мясоедовской (после – Шолом-Алейхема). Валера тогда тоже покуривал, на этом они и сошлись.

У Валеры было золотое сердце, он задумал спасти Вилю от наркомании и решил приспособить к делу. Бывший эквилибрист сочинил цирковой номер, где будет задействован и Виля Пантера, тоже играющий на гитаре.

Они этот номер репетировали уже с неделю, я заглянул тогда в спортзал, проведать Валеру. Оба, помню, были в трениках с обвисшими коленями и майках; в перерывах, сидя на матах, Валера читал стихи одесских поэтов и говорил кому-то: «С точки зрения с-техни-спихни-с-толкалогической, образов у тебя в стихах нет».

А Виля покрикивал им из своего уголочка: «We live in the country of the slaves! Откуда, салажата, произошло всенародное слово «хавать»? Где вам знать, сосунки! Я вам про это скажу! От английского глагола «to have». Вот учит меня сосед-диверсант с нижней шконки: скажи, мол, «I have my dinner». Я говорю: «Ну, это... хэв я, значит, мою баланду. Хэв или хав? Непонятно...» «I have! – он сердится. – Пишется по-русски хавэ! И какая баланда? Dinner! – он кричит. – Dinner! Dinner!» Я ему в ответ: «Хавэ, а я что говорю? Хаваю, если по-русски. А на обед у нас не стейк, пентагоновский ты хмырь, не диннер, а как раз баланда В общем, все лажа, ребятишки, главное – не забыть вовремя зашабить!»

Этого номера так никто и не видел – только я, он был уникален, но в первобытном своем варианте, а не в том, каким он бы выглядел в цирке. В цирке он бы выглядел просто: шикарные костюмы, отрепетированные до блеска движения, продажа...

Зрелищем я должен поделиться.

Номер я увидел такой... Партнеры стояли голова в голову: то есть Валера держался в стойке на голове на макушке (через бублик) напарника и балансировал ногами. Верхнего поддерживала лонжа (на конце лонжи висела, тоже болтая ногами, беременная его жена Валюха), но все равно от Валериной тяжести планакеша. Вилю перекосило – скажем, как резиновую куклу...

Вилина рожа, и без того дьявольская, разъехалась, как пластилиновая, и ходила вдобавок от непривычного

напряжения ходуном, а глазами он ворочал, будто его поджаривали на костре. Валеру на таком шатком нижнем, понятно, мотало.

Мало того, оба циркача держали гитары, били кое-как по струнам и пели гнусавыми, как полагалось тогдашним наркоманам, голосами первую попавшуюся по руку песню, наверняка Вилину:

Когда я чалился на зоне,
Где ветер режет, как монгол...

Минута... другая... Я тогда понял, что второго такого зрелища за свою жизнь больше не увижу.

Это было, верно, то, что должно было стать цирковым номером, и были бы аплодисменты... но что делать – наверно, искусство (книжные страницы, холсты художников, скульптуры, даже музыка) иногда так и рождается – в страшных и порой уродливых муках, у которых нет даже свидетелей.

Минута... другая... Валюха не выдержала и отпустила конец лонжи – пирамида посыпалась: Валера рухнул на пол, держа гитару над собой, Виля сел... Помотал головой.

– Вы что, ребята, – сказал, – это же *slave's work*! Пора хватануть дури, есть у меня назначенный баш.

Циркового номера у этой пары не получилось – Виля зачастил на малину на Мясоедовской, где снабжали дурью, и спортивную форму окончательно потерял, Валюха родила, начались пеленки...

Это сценка, но есть и картинка. На этот раз героем ее будет тот же Виля, Пантера.

На Дерибасовскую он часто выходил франтом. То он был в наряде гусара, только без сабли. То появлялся в костюме пушкинского Онегина. Денди с Невского проспекта, он шествовал важно, время от времени поднимая руку в лайковой перчатке к боливару или плутовски подмигивая кому-то из знакомых... И дань восхищения взглядами и жестами – выразюсь пышно – щедро падала к его стопам! Дерибасовскую трудно удивить, но на этот раз она и пялилась на франта

во все глаза и дивилась: откуда, мол, такая роскошь у бывшего зека и безработного наркомана?

Отгадку знали не все, но она была проста. Мать Вили Пантеры работала костюмершей в оперном, сын наряжался у нее. Под клятву – зуб даю! – что к ночи костюм вернет, он наряжался и выходил «в свет».

Некоторое время Виля, снимая лавры на Дерибасовской, костюмы все-таки возвращал, но однажды оставил очередной на малине по случаю ломки за дозу ширева, и его лафа кончилась. Он снова стал заурядным анашистом.

...Однажды мы встретились с ним в оперном. Должен был начаться балет «Пер Гюнт», я похаживал в круговом вестибюле театра и заметил дьявольскую рожу Пантеры, высунувшуюся из мужского туалета. Он всю сигнализировал мне глазами (огромные белки), подзывая к себе. Я зашел, Виля обкурил меня солидной дозой планчика... и никогда больше я не видел более потрясающего балета, где Сольвейг, волшебная Ирина Михайличенко, творила чудеса каждым своим движением, а Эдвард Григ казался мне лучшим композитором мира! Ту музыку – всю! – я помню до сих пор... Как и дьявольскую рожу Вили Пантеры, выглядывавшую из мужского туалета.

Вот пояснение словечек в тексте, может быть, не знакомых читателю.

Суржик – человек смешанных кровей. Планакаш – курильщик анаши, планчика. Шабить – курить «травку». Ширяться – колоться наркотиком. Продажа – раскланивание циркового артиста после окончания номера. Бублик – сшитый в форме бублика матерчатый, туго набитый ватой «буфер» на голове нижнего акробата. Лонжа – страховочный и тренировочный пояс у гимнастов и циркачей. Баш – одноразовая порция анаши, скатанной в шарик. Дурь – анаша. На Мясоедовской была хата, хаза, где можно было получить любой наркотик или ширануться.

...А последним приключением эксцентричного Валеры стало то, что он начал писать замечательные рассказы и публиковать их под фамилией Кузнецов. Вот и приходится судить о человеке «с точки зрения с-техни-спихни-с-толкалогической»!

Капельное орошение

Мне везло на необычных и замечательных в чем-то людей – то я их находил-выбирал, то они меня. Должно быть, и я им подходил: они не стеснялись показаться мне в своей необычности.

«Вселенная знает, как будет лучше. Рано или поздно она сведет нас с нужными людьми и разведет с ненужными». Будда.

Я, тренер по вольной борьбе в обществе «Динамо», поселился тогда у моего ученика. Шестнадцатилетний юнец жил в двухкомнатной квартире один, и вот почему. Отец его, часовой мастер, был расстрелян как валютчик (переводил советские деньги в доллары), мать как соучастницу преступления надолго посадили, бабушка умерла, когда в дом пришли с обыском. Стены квартиры были везде просверлены – органы искали бриллианты. Газ был отключен за неуплату...

Даня Шахов жил через три дома от моего «хозяина», соседи были знакомы, как-то общались. Мой ученик, встретив Шахова, рассказал, что у него живет его тренер. Даня, сам занимавшийся года три назад борьбой, решил со мной познакомиться. Мы встретились и законтачили. Связывало нас на то время две вещи – общий год рождения и принадлежность к одному виду спорта. Нет, ежели честно, – три. Бабы. Даня был небольшого роста, очкарик, картавил, да и не красавец; ясно, что волновало ум: женский ответ на его, Шахова, приближение, на его картавость. Очень скоро мы с ним углубились в бесконечную тему отношений полов...

Как-то, по-соседски зайдя ко мне, он увидел на моем столе стопку бумаги и рукописный текст на первом листе. Прочитал. Поднял на меня остекленный очками взгляд.

– Вот это лишнее, – показал на первый объемистый абзац. – Начинать лучше с этой строки, – показал ее. И тут же переключился – начался тот, близкий нам обоим, двадцатисемилетним, разговор.

Шахов говорил и говорил, а я не мог дождаться, когда он уйдет: мне нужно было побыстрее понять, почему первый абзац лишний, и что там за строка, с которой нужно начинать рассказ.

После рассказ был опубликован, он начинался отмеченной Даней строкой: «Наша батарея стоит над обрывом, четыре 130-мм пушки»...

Шахов слыл в городе абстракционистом. Так его звали в горкоме партии, в том отделе, который отвечал за воспитание подрастающего поколения. Сам себя, впрочем, он видел драматургом.

Что такое абстракционист в то время? К нему тогда ходили все начинающие поэты, художники, сценаристы, прозаики. Они приносили свои работы и показывали Шахову. Даня читал тексты или смотрел на картину – и вот он поднимал на поэта ледяные очки и говорил... Нет, он не говорил, он чеканил, как чеканят монету:

– Ну и что?

Это значило, что в работе нет ничего нового, оригинального, а искусство, он говорил потом, оно как физика: в нем можно только открывать. Его «Ну и что?» плюс ледяные очки знала вся Одесса...

Или он говорил:

– А что?.. Это... – тут Даня снимал очки и протирал глаза.

Шахов был тогда самый большой культурный авторитет в Одессе. Его вызывали в горком и спрашивали:

– На что вы толкаете молодежь? На какие такие открытия? На тлетворный западный абстракционизм?

Тогда в партийных кругах было модно произносить это слово с мягким знаком – как Хрущев.

Даня Шахов картавил. Он отвечал:

– Какой абст'якционизм? Ёбята ищут! Одни находят, дъругие нет. Я им помогаю оп'еделиться.

– Вы бы лучше помогали нам, – говорили в горкоме. – Хотя мы уже давно и навсегда определились. А их и так найдут...

Случилось наконец и со мной – я написал первое стихотворение. Кому показать? Даньке! Я осмелился и прочитал ему стих. Авторитет выслушал до конца, поднял на меня глаза за ледышками очков (стекла могли быть холодными и теплыми) и произнес то знаменитое, чем он часто оценивал приносимые ему работы:

– Ну и что?

Трам-тарарам! Я что-то невнятное забормотал, бумагу со стихотворением поскорей спрятал (потом выбросил), перевел разговор на никчемную бытовуху. Краткая оценка моего дебюта

показалась мне исчерпывающей. За всю свою жизнь я написал, может быть, всего пяток стихотворений, и то с оглядкой на Данькино – нет, скорее, на главное в творчестве мерило: «Ну и что?».

И вот в стране произошло наконец то, чего все ждали и не могли дожидаться, и даже не верили, что дождутся: коммунисты кончились. Они и так сильно задержались. В последнее время их знали только через анекдоты.

И новой власти оказался нужен наш Даня Шахов! Ей вдруг понадобился абстракционист! Для связи с молодежью. Кто еще поймет молодежь, наверно, думали они, как не абстракционист, и кого еще будет слушать молодежь, как не абстракциониста!

На этот раз власть не ошиблась. Через какое-то время прежде гонимый Шахов уже ведал всякими шоу, устраивал концерты, приглашал знаменитостей. Он ведал телевизионной компанией! Он завел собственное дело! Нынешняя власть вставала, когда он входил к ней в кабинет.

– Давид Маркович, – спрашивала власть, – а как мы проведем в Одессе этот праздник?

Давид Маркович садился и рассказывал, а начальство только кивало.

У Дани Шахова есть фотография, где он снят с патриархом Алексием! Они жмут друг другу руки. «Кто это рядом с Шаховым?» – спрашивали в Одессе.

Как-то Дан привел меня в литобъединение, что располагалось в доме, где жил когда-то Пушкин, на втором этаже. Я увидел пишущую Одессу, молодых людей нашего с Данькой возраста, которые читали с кафедры свои стихи и рассказы, другие поднимались на нее разбирать и критиковать услышанное.

Помню, какой гул пронесся по помещению, когда один из взобравшихся на кафедру начал свой рассказ фразой: «В комнате царил таинственный полумрак...».

И помню воцарившееся в аудитории зачарованное молчание, когда один парень из порта, исподлобья глянув на аудиторию (зубастые одесситы, только что безжалостно осмеявшие коллегу), повел рассказ так:

– Лошадь была.

Пауза, взгляд в зал.

– Белая...

Снова пауза.

– Суставы ног у нее были уже опухшие, и копыта потрескались, короче – пожила. Поработала.

Пауза, зал насторожился, слушая.

– Ходила лошадь уже трудно... Но была у нее радость – жеребенок. Тоже белый...

Одесситы осторожно переглядываются, но молчание абсолютное: простые слова, новый ритм прозы.

Скажу, чем занимался в отношении меня, недавнего матроса и спортсмена, Даня Шахов, – капельным, похоже, орошением. Этот термин я применяю, вспоминая школу, какую я получал в Одессе.

Следующий – запомнившийся – шаг моего друга был еще интереснее – он купил мне билет на концерт блиставшего тогда Вячеслава Сомова, читавшего в тот год так называемую «западноевропейскую поэзию», к которой относились Витезслав Невзал, Альберти, Пабло Неруда, Лорка...

...Он вышел на сцену быстрым шагом, с каким-то вызовом в каждом движении, с опасным, как мне показалось, блеском глаз; сейчас его можно объяснить: это был вызов тогдашней цензуре, не допускавшей мировой поэзии в советские залы.

– Огромен этот дом – отсутствие мое... – звучала строка Пабло Неруды, заставляя замирать сердца от безмерности образа.

Потом по просьбе публики Сомов прочитал есенинское «Письмо к женщине», и я понял, что совершенно не знаю этого стихотворения, что слышу его впервые, хотя читал «Письмо...» не раз и не два.

Прошло проверочное время, Шахов понял, что со мной можно откровенничать не только «о бабах». И однажды, движимый уж не знаю какой мыслью, он рассказал...

...Что был он в 1950 году летом по каким-то делам в России, сидел, семнадцатилетний юнец, на вокзальных ступеньках в небольшом городке (пусть будет Серпухов), ждал поезда, который опаздывал вот уже на два часа. Всего пять лет после окончания

войны, виды вокруг – аховые. Обшарпанные, со следами пуль и снарядов стены вокзала, огромная лужа на площади, в ней отражается разрушенная, без куполов, снесенных войной, покосившаяся церковь, домишки по обе стороны храма, безногий инвалид в рванине катит на коляске с колесиками-подшипниками прямо перед ним... Неумолчное тарыхтение вокзального радио прерывается торжественным голосом диктора:

– ...новая работа И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», опубликованная в сегодняшнем номере газеты «Правда», – очередной ценнейший вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма, в диалектический и исторический материализм. И.В. Сталин, гениально обобщая всю историю развития общества... дает законченное понятие о надстройке... о классах и классовой борьбе... В своей работе вождь подверг сокрушительной критике «новое учение о языке» академика Николая Марра, которое на протяжении двух десятилетий господствовало в СССР, и поставил точку в дискуссии относительно марризма...

Слова диктора прямо накладывались на то, что видел перед собой Даня, на лужу перед ним, на разрушенную церковь и бедные домишки, на безногого, катившего ниоткуда в никуда...

– И я вдруг подумал тогда, – говорил мне Даня, – неожиданно подумал, меня как стукнуло: что в этом нелепом мире я должен быть умным, очень умным...

